

▶ ПОЭЗИЯ ДУШИ | Этюды к 200-летию М. Ю. Л.

По лермонтовскому следу

ВЯЧЕСЛАВ АРИСТОВ

Продолжение.
Начало в № 107, 110, 113.

Почему-то вспоминается дорога: выходишь за околицу села и видишь её, неспешно убегающую из-под твоих ног к далёкому горизонту, и появляется ощущение птичьей устремленности в тебе самом – взгляду бы да крылья...

Впрочем, в этом селе и окрест его крылатость ощущений, чувств, случается, и раздумий, теснится в тебе и понуждает к постоянному передвижению внутри двухвекового ландшафта и понуждает в любом месте, в любое время и даже вне его, да и не замечаешь его... здесь оно рассыпано по массиву массой в двести лет. И эта дорога... она тоже вне времени, до него и после... и он над ней и видит тебя и ждёт: вдруг ты запоешь: «Выхожу один я на дорогу...» И как тут не запеть...

«Сквозь туман кремнистый путь блестит...» Дивная картина – что-то из Чюрлениса, войдёшь в такой туман и заблудишься... а если навсегда? Если смерть – тот же туман, сквозь который блестит путь в мир иной....

Дорога, простирающаяся от меня к кромке земли и неба, пугающе пустынна и тиха, и сейчас я лишён воли ринуться по ней вслед ему, почти два века тому назад воспевшему её незадолго до своей гибели. И усилием дремлющей воли вопрошаю: почему они позволили убить его, по сути, в начале его пути? Он их воспел, а они позволили... Почему? Вопрос покидает меня и улетает к ним. как эта дорога, по которой он покинул свое родовое гнездо, и та, которую он воспел перед гибелью, и обе они сливаются в его путь, оборванный выстрелом напыщенного, самовлюбленного человека. И вы позволили ему выстрелить... Почему?

Остановись! – реку я себе, ибо знаю: моё несмирение проросло из смирения и, отпылав горечью и скорбью, в него же и падёт. Знаю, поскольку другая дорога пересекает мою живую память, и протянулась она от безлюдного перрончика железнодорожного полустанка полями да лесками к местечку, которое семь веков назад называлось Радонежом.

Чудное слово – словно, плотно прижавшись друг к другу, то ли шествуют, то ли воспаряют радость

и нежность или так обрело приют их дитя – нежная радость. Остается гадать – открывалась ли она отроку Варфоломею, озабоченному поисками запропастившихся жеребят.

Как долго думал я об этой дороге, выжидал позволения отправиться на её поиски и дождался... услышал в столичном метро, как двое обсуждают поездку в Радонеж в ближайшее воскресенье, прозвучало название полустанка, и оно оказалось знакомым: через него я не раз проезжал в Троице-Сергиеву лавру, и вспыхнуло предчувствие радости...

Дорога открывалась, как страница редкой старинной книги, обрётённой после долгих мечтаний и поисков её, и первые же строки текста проникали в сознание «умной» молитвой: я всматривался в них и видел справа тёмные воды извилистой речки, огибающей столь же тёмный ельник, и слева березово-луговое приволье, за которым скрывались сиятельные купола лавры.

Он звал меня за собой

Так получилось (или случилось), что в лето и осень одного давнего года я отыскал Радонеж и посетил Лермонтово (Тарханы). В тот год, да и после, эти два обретения исторического пространства я никак не связывал, не приводил их к некоему общероссийскому духовному знаменателю. Радонеж и Троице-Сергиева лавра притягивали меня с поры, когда воочию увидел композиции Михаила Нестерова о житии отрока Варфоломея – игумена Сергия и прочитал увлекательные, выстроенные с исторической достоверностью романы Дмитрия Балашова о Московии XIV века, от Ивана Калиты до Дмитрия Донского, и ключевыми фигурами в созидании не только новой государственности, но и национально-духовной ментальности показаны святители – митрополит Алексей и преподобный игумен Сергий.

А в Тарханы, можно сказать, меня гнала ностальгия по Лермонтову, которую я отсчитываю ещё от школы, от восьмого класса. Выполняя задание учителя по труду и рисованию, на листе из альбома изобразил цветными карандашами картинку на сюжетик из «Героя нашего времени», а именно, спуск-въезд Печорина и

осетина-извозчика в Койшаурскую долину. Сегодня не вспомню какие-либо художественные достоинства вполне ученического рисунка, но вскоре он оказался на городской выставке школьного творчества, и там его... стибрили...

С этого рисунка Лермонтов проник в моё сознание, в жизнь надолго и необратимо, только по нарастающей... Он звал меня за собой... и, работая над иллюстрациями к юношеской поэме «Измаил-Бей», в свои отпуски отправлялся я на Северный Кавказ, бродил по ущельям Хурзука и Кубани, Баксана и Чегема, Ардона и Аргуна, долинам рек Малки и Террека, воображение легко, казалось, вживляло в моё горное присутствие персонажей из «кавказских» поэм поручика Тенгинского пехотного полка и самого поэта, каким он выглядит на акварели К. А. Горбунова, на мой взгляд, наиболее верно раскрывающей трагическую обречённость поэта.

В том же далеком, но памятном году в лавре я решился приложиться к раке с мощами преподобного игумена; а в Тарханах меня допустили к фамильному склепу, и я прикоснулся к саркофагу с прахом поэта; но при всей сокровенности оба переживания так и остались в моём сознании на разных полюсах – святитель земли русской, избранный Высшей Волей и неустанно служивший Ей, и гениальный русский поэт, воспевший духа изгнания – Демона.

И вот наступил год 2014-й, и мы как бы внезапно обнаружили необходимость сопоставления и сближения двух временных знаков – 700 лет от рождения Сергия Радонежского и 200 лет от рождения Михаила Лермонтова – две великие даты, данные нам во всей своей исторической и духовной глубине и полноте.

Внутренняя сплочённость святителя, её чистота, стойкость в осаде бесами всех мастей, и, как награда за неё, стяжание святого духа во всей его высоте – от земной благодати до горного просветления.

И безумно короткая жизнь поэтического гения, его раздвоенность: творческий дух – высочайший, космический и бедное духовностью бытие, начиная с сиротского по сути детства и завершая гибелью на дуэли; почти априори – гений не может быть святым.

И вот оба сблизились в одном временном отрезке, сложном для России, но и преображающем её.

Вижу в этом некий промысел свыше для рождённых в российском мироустройстве и не впавших в беспамятство о нём...

И в небесах я вижу бога.

Но несколько раньше поэт написал:

*Печальный Демон, дух изгнания
Летал над грешною землей.*

Восемь редакций «Демона»

Лермонтов создал восемь редакций поэмы «Демон», и самая первая сочинена в возрасте 15 лет. По последней восьмой редакции был изготовлен список поэмы для чтения в кругу императрицы – Александры Фёдоровны была пристрастной почитательницей сочинений поэта. Затем список был передан в цензурный комитет, где в нём сделали ряд купюр, Лермонтов с ними не согласился и отказался от публикации поэмы. Широкому же читателю «Демон» предстал через пятнадцать лет после гибели поэта, и поэма влилась в бесценный фонд российской словесности.

Итак, восемь редакций «Демона», пронизывающего всю творческую жизнь поэта; сложно найти нечто подобное в мировой литературе.

Лермонтов, как никто в поэзии, переживал и выражал пастернаковскую любовь (или нелюбовь) пространства, его прилегающее и космическое равнодушие к человеку и стремление последнего «привлечь к себе» его «любовь»... В стихотворении «Небо и земля» поэт с великим смирением и земной болью восклицает:

*Чем ты несчастлив? –
Скажут мне люди.*

*Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо –
Звезды и небо! – а я человек!..*

Разве мы не осознаём то же самое, когда пытаемся разглядеть в ночном небе не то, что мы видим, а то, что мы не видим... и никакие, самые «крутые» прозрения, постигнутые с помощью космической оптики, будь то супертелескоп Хаббл и прочее, пока не могут избавить нас от вселенского одиночества. И поэт провозглашает – воспевают его с дерзостью и вызовом:

*Живу – как неба властелин –
В прекрасном мире – но один.*

Вот здесь, по всей вероятности, и сокрыт космический ген демонизма: одиночество оказывается изнанкой изгнания... смирение преображается в гордыню... прекрасное низводится и расщепляется в страдания... дух энтропирует... и поэт словно раздвигает неземную завесу и открывается грандиозная панорама:

*И дик, и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоким
Не отразилось ничего.*

И в глубинах этой панорамы странствует душа поэта.

Поэт сверхчеловечества

Дмитрий Мережковский в своей знаменитой статье «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» рассматривает жизнь и творчество поэта как особый метафизический опыт трагедийного наполнения. Вот некоторые мысли Дмитрия Мережковского:

«Лермонтов – ближайший предтеча Ницше.

Источник лермонтовского бунта – не эмпирический, а метафизический.

Душа Лермонтова – исключение из общего закона мистического опыта.

В христианстве – движение от «сего мира» к тому, отсюда туда; у Лермонтова обратное движение – отсюда сюда.

Никто так не чувствовал, как Лермонтов, человеческого отпадания от божеского единства природы.

Лермонтов – один единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся.

И уже не мета – а чисто физическое о Лермонтове-человеке: он – точно заряженная лейденская банка, кто ни прикоснётся, отскакивает».

Трудно не согласиться со многим, что высказывает Дмитрий Мережковский, и всё же вернее, перечитывая всю поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова от самого первого стихотворения «Поэт» (1828 г.) до последнего «Никто моим словам не внемлет... я один» (1841 г.), отследить строфы – строки о теургической полярности трансцендентного – божественное и демоническое.

Сверхчеловечество – метафизика – мистика... Да, все это, несомненно, растворено в пучинах лермонтовского сознания, его поэзии и прозе; но всё это никак не заглушает, тем паче не отменяет интуитивного восприятия – поэт прежде всего человек! И все человеческое не минуло на протяжении всей его жизни: от рождения до исхода...

Продолжение следует.